

## ОБ ОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ИСТОЧНИКЕ ГОГОЛЕВСКОГО *ВИЯ*

*Михаил Евзлин*

В письме к Пушкину Гоголь просит дать „какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот”.<sup>1</sup> Это настаивание на *русском* анекдоте может служить косвенным указанием на то, что Пушкин «поставлял» Гоголю главным образом анекдоты из западноевропейской литературы. Особо богатым в этом отношении является роман Апулея *Золотой осёл*. Текстуальные совпадения между *Виём* и *Золотым ослом* позволяют предположить, что Гоголь не только *слышал*, но и читал роман Апулея в русском переводе Ермила Кострова.<sup>2</sup>

Эти совпадения обнаруживаются в первую очередь на сюжетном уровне. Сократ, герой первой вставной новеллы, рассказывает:

я для некоторых выгод отправился в Фессалию; но когда я, прожив десять месяцев, возвращался оттоле с довольным числом денег; то прежде, нежели пришел в Лариссу, чтоб видеть бойцов сражение, на некоторой узкой и отдаленной долине окружен я был разбойниками, и оными ограблен. В таком бедственном будучи состоянии зашел я по дороге к одной трактирнице называемой Мероею; она была уже в летах, однако еще довольно пригожа: я изъяснил ей причины моего пути, обстоятельства моего возвращения в дом, и несчастный случай со мною приключившийся. Рассказав ей все подробно, был я принят ею очень ласково, она представила мне ужин изрядной и притом даровой. После того подстрекаема будучи вожделением удостоила меня своего ложа. И немедленно я бедняк за одну ночь сделался ей должником: я отдал ей и последнюю одежду, которую мне честные разбойники оставили для прикрытия моего тела; я для нее истощил весь барыш, который получал торгуя

---

1 Письмо к Пушкину от 7 октября 1835 г., цит. по: Пушкин 1949:54.

2 Ссылки на роман Апулея делаются по изданию: Апулей 1780-1781. В скобках указывается латинская нумерация, а также часть и страница русского издания.

платьем, когда еще был я здоров. Сим то образом несчастная моя судьба и сия добренькая старуха довела меня до сего жалкого состояния, в каком ты меня нашел недавно (*Met.*, I; ч. 1, сс. 12-13).

Вслед за описанием киевской бурсы (177-180)<sup>3</sup> следует рассказ о странствии трёх бурсаков:

Один раз, во время подобного странствования, три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст (181).

Возвращаясь домой, Сократ *сворачивает* с большой дороги, вследствие чего он оказывается *в узкой и отдалённой долине*. По дороге Сократ *заходит к трактирщице*. Это новое сворачивание с дороги оканчивается для незадачливого путешественника *смертью от ведьмы*.

Сократ сворачивает с дороги, чтобы *видеть бойцов сражение*, бурсаки – чтобы *в первом попавшемся хуторе запастись провиантом*. Это объяснение вызывает сомнения. Когда бурсаки распускаются по домам, „тогда всю большую дорогу усеивали грамматикки, философы и богословы” (180). Таким образом, по большой дороге бурсаки идут *в сторону дома*, а всякое *сворачивание* с неё должно вести их *в ложном направлении*, во всяком случае, замедлять их продвижение *в сторону дома*. Бурсаки сворачивают с большой дороги только в том случае, если видят в стороне хутор (180). Это последнее обстоятельство позволяет предположить, что хутора, в которые заходят бурсаки, располагаются *вдоль большой дороги*, и, даже сворачивая с неё, они *никогда не теряют её из виду*. А посему сворачивание трёх бурсаков с большой дороги в надежде запастись провиантом в первом попавшемся хуторе, которого они не видят, следует рассматривать как *отклонение* от направления движения идущих в сторону дома бурсаков.

Сворачивая с дороги, Сократ приходит к трактирщице-ведьме, которая *подстрекаема будучи вождением удоставляет его своего ложа*. Три бурсака, богослов Холява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець, сойдя с большой

---

3 Вий цит. по: Гоголь 1937; в скобках указывается номер страницы.

дороги, приходят на *небольшой хуторок*. Старуха, хозяйка хутора, говорит просящимся переночевать бурсакам: „Не можно (...) у меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену?“ (183), т. е. хутор в действительности есть постоянный двор или *трактир*. В противном случае присутствие *множества постояльцев* на хуторке, находящемся в стороне от большой дороге, было бы совершенно необъяснимым.

Старуха впускает бурсаков, размещая их *в разных местах* (184-185): ратора – в хате, богослова – в пустой каморе, а философа – в пустом овечьем хлеву, т. е. на хуторе оказывается *достаточно* места, чтобы разместить новых пришельцев.

Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася (...) повернулся на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.

„А что, бабуся, чего тебе нужно?“ сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.

„Эге, ге!“ подумал философ: „только нет, голубушка! устарела.“ Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему.

„Слушай, бабуся!“ сказал философ: „теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться.“ Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. (...)

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос его не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах (185).

Приход старухи-ведьмы в хлев повторяет приход волшебниц в комнату, где спят Аристомен и Сократ:

Едва только я заснул: вдруг отворяется дверь с таким стуком, как будто ломают ее разбойники, запор и крюки сокрушаются и падают на землю вместе с дверью. Маленькая и уже ветхая моя кровать от такого усилия отпрокидывается и меня скатившагося на пол собою покрывает. Тогда я почувствовал, что есть в человеке страсти, которые производят действия себе противные; ибо как по случаю текут от радости слезы, так и я в сем ужасе не мог удержаться от смеха, видя себя превращенным из Аристомена в черепаху. Таким образом повержен и лежащ ниц смотрел я со стороны последствие сего произшествия будучи прикрыт своим одром, и увидел вшедших двух старух. Одна из них держала

светильник, другая грецкую губу и обнаженный меч. В таком вооружении приблизились оне к Сократу в глубокой сон погруженному (*Met.*, I, 11-12; ч. 1, сс. 18-19).

Значима неподвижность Аристомена, безмолвно наблюдающего за действиями старух волшебниц. Аристомен *видит* смерть Сократа:

Тогда наклонив Сократову голову вонзила ему меч в левую сторону шеи по самой ефес и подставив сосуд принимала текущую кровь с таким рачением, что ни единой капли не было видно. Все сие видел я своими очами (*Met.*, I, 13; ч. 1, с. 21).

Хома Брут с ужасом видит, „что даже голос не звучал из уст его” (185). Эта энигматическая фраза позволяет предположить, что философ *видит себя мёртвым*, т. е. «субъект» и «объект» совмещаются здесь в одном лице, что соответствует состоянию *клинической смерти*, когда мертвый видит самого себя.

Сократ просыпается к удивлению и великой радости Аристомена. И действительно, он видел не только как Мероя вонзала меч и собирала в сосуд кровь до последней капли, но и как „исторгнула сердце” Сократа (*Met.*, I, 13; ч. 1, с. 21), и поэтому пробудившийся Сократ *не может быть* живым. Но самое существенное, что он *не знает* о своей смерти. О ней *знает* Аристомен, объясняя себе парадокс «живого мертвеца» сновидениями, происшедшими от „пьянства и обядения” (*Met.*, I, 18; ч. 1, с. 27).

Около источника Сократ умирает *на самом деле* (*Met.*, I, 19; ч. 1, с. 29). Таким образом, Аристомен становится свидетелем *двух смертей* своего товарища. Но эта *вторая смерть* около тихого источника становится *окончательной*, после чего Аристомену не остаётся ничего другого, как оплакать и зарыть в песок Сократа (*Met.*, I, 19; ч. 1, с. 29). *Вторая смерть* рассеивает сомнения в *первой*, а посему

весь трепеща и ужасаясь, чрез разные и непроходные пустыни убежал и сокрылся, и будто бы точный убийца, оставил я свое отечество и дом, и самовольно осудил себя на изгнание (*Met.*, I, 19; ч. 1, с. 29).

Мотив «живого мертвеца» возобновляется в рассказе о *страже мертвеца*, которому ведьмы, усыпив его, отрезали нос и уши (*Met.*, II, 21-30). Значимо здесь не столько временное *оживание* мертвеца в результате магических действий, сколько *замещение* живым мёртвого:

Но страж мой как живой еще, а мертвой только в рассуждении глубокого сна пробудился, и думая что это его кличут, ибо он одного со мною имени; пошел ко дверям подобая тени мертвеца (*Met.*, II, 30; ч. 2, с. 81).

Таким образом, если в первом рассказе мёртвый ведёт себя как живой, то во втором – живой замещает собой мёртвого. *Взаимозаменяемость* живого и мёртвого и даже *неотличимость* одного от другого в рассказах о Сократе и Телефроне объясняет, как нам кажется, *отдаление* трёх бурсаков от большой дороги, по причине чего они оказываются в степи, по которой „никто не ездил” (182), т.е. в антипространстве смерти, в котором **н и к т о н е ж и в ё т**.

Странствие Хома Брута с ведьмой на спине повторяет в основных чертах инициационное странствие Луция:

Я приведен был сперва ко вратам смерти, и нога моя касалась самага праха чертогов Прозерпининых; я возвращаясь из сего места веден был через все стихии, и среди мрачной полночи видел солнце сияющее чистейшим светом; потом зрел лицом к лицу небесных и адских богов и поклонялся им в близости (*Met.*, XI, 23; ч. 2, сс. 336-337).

Аналогичным образом проносится через *все стихии* Хома Брут:

Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки

выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета (186).<sup>4</sup>

В качестве предельной точки инициационного странствия Луция называются *чертоги Прозертиныны*, что позволяет сделать предположение о цели посвящения в таинства, хотя по видимости о них умалчивается: „Се таинства, которые хотя и слышал ты, но понять не можешь” (*Met.*, XI, 23; ч. 2, с. 337). Богиня Исида говорит Луцию:

Впрочем ты под моим покровительством и защитой будешь жить благополучно и цвет славы твоя никогда не увянет. Но совершив странствование в сей юдоли снидешь ты во ад; однако и на сем подземном полукружии не оставит тебя щастие, ты будешь обитать в радостных Элисейских долинах, ты не преминешь поклоняться мне и в сем месте, мне с и я ю щ е й посреди мрачного Эреба и царствующей в Плутоновых чертогах (*Met.*, XI, 6; ч. 2, сс. 304).

Отправляясь ко *вратам смерти* и *касаясь праха чертогов Прозерпиныных*, Луций совершает путь, который он должен будет повторить после смерти, получая таким образом сведения о «топографии» страны мёртвых, позволившие бы ему, избегая опасностей, благополучно добраться до *Элисейских долин*.

Этот *посмертный* характер странствия Луция, думается, может служить указанием на «инициационное» содержание скакания Хома Брута с ведьмой на спине. Существенное различие между двумя странствиями (Луция и Хома) состоит не в том, что один совершает его в скотском образе, а другой –

---

4 На сходство скакания Хома Брута с ведьмой на спине со странствием апулеевского Луция указывает М. Вайскопф: „Правда, у Апулея персонаж видит все это, уже вернувшись из скотского, ослиного образа в человеческий, а у Гоголя, напротив, Хома как раз в момент созерцания функционально превращается в «скакуна», но внутреннее родство обоих текстов очевидно” (Вайскопф 1993:155). Эта последняя фраза о *внутреннем родстве обоих текстов* как будто бы желает сказать, что Гоголь был знаком с текстом Апулея. Однако в подтверждение своего утверждения М. Вайскопф цитирует *Золотого осла* в переводе М. Кузмина (первое издание 1929 г.), что представляется некорректным с научной точки зрения, обесценивая это весьма ценное наблюдение.

в человеческом, а в том, что Луций отправляется в мир смерти живым, а Хома входит в ворота степного хутора мертвым. Это качество «живого» и «мёртвого» дополнительно подчёркивается тем, что Луций „веден был через все стихии” добровольно в результате правильной инициации, а Хома несёт на себе ведьму против своей воли, не ведая о том, что с ним происходит:

он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна (185-186).

При этом философ скачет не по земле, а по воздуху, более напоминая крылатого Пегаса, чем черкесского бегуна. Это невольное скакание имеет точное соответствие в сцене бегства осла-Луция с девицей на спине:

Сия девица, решась на мужественное предприятие вырвала из рук старухиных повод, притом лаская и поглаживая меня, чтоб удержать мое стремление, села на мою спину весьма проворно и советует бежать из всей мочи. Собственная моя охота к бегству, и желание избавить от плену толь прекрасную девицу, притом удары по моим бокам учащаемые сделали меня уже не ослом но быстрым конем достойным рыстаний Олимпийских (*Met.*, VI, 27-28; ч. 2, с. 45).

Разбойник вопрошает хромящего осла-Луция: „давно ли скоростию своею превосходил ты крылатого Пегаса?” (*Met.*, VI, 30; ч. 2, с. 50). Бег осла возбуждается девицей, бьющей его по бокам. Луций прекращает своё невольно-вольное движение только тогда, когда обнаруживает *ложность* направления, по которому его гонит девица:

Она взявши узду обращала меня вправо, ибо дорога сия лежала к дому ея родителей, но я зная, что разбойники сим же путем пошли за остаточною своею добычею, противился ей упорно (*Met.*, VI, 29; ч. 2, с. 48).

Таким образом, осёл-Луций в состоянии *остановить* движение, но не *направить* его, вследствие чего девица и осёл оказываются в абсолютно безвыходном положении. Разбойники решают умертвить осла

и вынуть из желудка всю внутренность, а после девицу сию (...) посадить в его пустое брюхо нагую, таким образом, чтобы одна голова ея была наружи, а все прочее тело зашито накрепко в желудке (Met., VI, 31; ч. 2, с. 52).

Желая прекратить свой невольный бег, Хома произносит *заклятия*, в результате чего он *меняется местами* с ведьмой.

Наконец, с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и не полном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху (187).

Философ с ведьмой на спине скачет *по воздуху*. В противном случае было бы необъяснимым, как он может видеть *море, солнце, русалку*. Естественно предположить, что и старуха с философом на спине скачет по воздуху. И действительно, подтверждение этому как будто бы имеется во фразе „земля чуть мелькала под ним”. Однако следующая фраза („Долины были гладки, но всё от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах”) описывает состояние всадника, который скачет по земле. Но в таком случае, как мог Хома Брут (если он видит всё „неясно и сбивчиво”) увидеть на дороге полено и даже схватить его на скорости, от которой „всадник едва мог переводить дух свой”? Затем ничего не сообщается, бьёт ли философ поленом старуху на ходу (или на лету) или когда они останавливаются. Естественно предположить, что Хома бьёт ведьму на ходу, и остановка движения происходит тогда, когда ведьма *падает на землю* (187).

Это падение, думается, свидетельствует в пользу предположения, что ведьма скачет по воздуху. Освободившись от своей наездницы, Хома Брут бежит во весь дух в Киев (188). Но при-



водит его это бегство снова к ведьме, так же как бегство осла с девицей на спине – к *разбойникам* (*Met.*, VI, 29; ч. 2, с. 49).

Движение *против воли* (и поэтому – *ложное*) ведёт к гибели. В этом отношении особо значимым представляется рассказ о псаре, с одной стороны поясняющий скакание ведьмы на философе, а с другой – указывающий на *источник* этого скакания. Спирид рассказывает:

Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, оба бился совсем; сделался чорт знает что; пфу! непристойно и сказать. (...) Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает (...) Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он дурень и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою (203).

Везя на себе прекрасную девицу, осёл-Луций особенно увлечён её ногами: „уклоняя голову на сторону, притворяясь будто хочуч почесать свои бока или спину, целовал я как любовник нежные девицы сея ноги” (*Met.*, VI, 28; ч. 2, с. 45). За своё неумеренное сладострастие он едва-едва не претерпевает окончательного превращения в *презренный труп*. Скакание истощает псаря, который „с той поры иссохнул весь, как щепка”. Аристомен встречает в бане Сократа: „он сидел на земли едва покрыв раздранною епанчою, тощ, бледен и в жалком состоянии” (*Met.*, I, 6; ч. 1, с. 9). Это состояние Аристомен представляет как следствие похоти:

Поистине, сказал я ему, ты достоин самых лютейших напастей, естли только может что быть лютее последняго твоего нещастия; когда ты дерзнул своему дому, детям и жене своей

предпочесть студную похоть и всесветную блудницу (*Met.*, I, 8; ч. 1, с. 13).

Приход старухи философ интерпретирует как *желание* хозяйки хутора *удовлетворить своё вожделение* с новым постояльцем. Везя на себе старуху-ведьму, он испытывает „какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство” (186); „бесовски-сладкое чувство” (187); „томительно-страшное наслаждение” (187). Конечным своим результатом, по всей видимости, оно должно было иметь истощение «коня», как в случае с псарем. Здесь же это отношение переворачивается: истощается не «конь», а «наездница», которая падает на землю в изнеможении. Существенно отметить сходство ощущений философа как в качестве коня, так и в качестве наездника. Когда он вёз на себе ведьму, „ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него” (187); скача на ведьме, он „едва мог переводить дух свой” (187). Это последнее обстоятельство позволяет сделать предположение, что вожделение является здесь не целью, а *средством* для истощения «объекта». В отношении псара это средство функционирует. В отношении философа происходит срыв, вследствие чего истощается не он, а ведьма, которая «умирает».

\* \* \*

Отметим *частности*, в которых, по нашему мнению, обнаруживаются явные следы чтения Гоголем романа Апулея в переводе Ермила Кострова.

Т и х и й и с т о ч н и к . Волшебница Мероя говорит Пафии:

вот мой дорогой Эвдимион, мой возлюбленный Танимед, которой днем и ночью во зло употреблял мою младость, и которой ныне презрев мою горячность, не только безславит меня, но еще старается от меня у б е ж а т ь (*Met.*, I, 12; ч. 1, с. 19).

Сократ и Аристомен, *убегая*, останавливаются около и с т о ч н и к а:

Наконец Сократ поевши довольно почувствовал *непреодолимую жажду*, и не без причины: ибо он превеликой кусок сыру съел с жадностью; а притом близ *дерева* протекал *тихой источник* подобной неподвижному озеру; вода его была прозрачна как *серебро*, или кристал. Вот, сказал я ему, утоли здесь жажду свою *чистой водою*. (...) Едва он прикоснулся *губами* своими к воде, вдруг рана в горле его растворилась, и *грецкая губа* выпала из нея с кровью, и его бездушное тело скатилось бы в реку, если бы я схватив за ногу не вытащил его на берег хотя и с трудом (Met., I, 19; ч. 1, сс. 28-29).

Хома Брут бежит из селения сотника:

Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошрины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. *Верб*а разделившимися ветвями преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой *источник* сверкал *чистый*, как *серебро*. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал *жажду* *нестерпимую*. „Добрая вода!” сказал он, утирая губы. „Тут бы можно отдохнуть.” (214).

Эта остановка у *чистого источника* становится для Хома Брута, как и для Сократа, преддверием ко *второй смерти*. Склонившись над источником, философ слышит над ушами голос Явтуха: „Однако ж погуляли довольно: пора домой” (215), после чего ему не остаётся ничего другого, как вернуться в церковь – к ведьме: „Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу” (215).

*Неприступная гора*. Осёл-Луций приходит вместе с разбойниками к *назначенному месту*:

Место сие было *страшная* и *самая высочайшая гора*, покрытая множеством густых *дерев*, окруженная *утесистыми камнями*, которые составляли из себя *ужасные стремнины*, покрытые терном, и жесткими всякого рода травами, и так сие природное укрепление делало *гору* сию *неприступною*. С *самой ее высоты* *мног*оводный *источник* извергаясь в *низ* и

стремясь чрез утесы разделялся на долинах во многие струи, и составив потом пространное и тихое озеро, или небольшое море окружал все сие место (Met., IV, 6; ч. 1, сс. 132-133).

Фома Брут, достигнувший после ночного странствия с казаками *назначенного места*, осматривается:

Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она вся была изрыта дождевыми промоинами и проточинами. (...) С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом, Философ стоял на высшем в дворе месте, и, когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметно вдали полосой горел и темнел Днепр (194-195).

Философ, созерцая *страшную круть* горы, удивляется, как могли проехать через неё казаки, не полетев вверх ногами, т. е. со стороны горы селение является *непрístupным*. В таком случае, как следует объяснять присутствие «дороги» на вершине *страшно крутой* горы? Ответ на этот вопрос даёт текст Апулея. С *самой высоты* горы вьётся не дорога, а *ниспадает водный источник*, который спросонья, после хмельной ночи, философ принимает за дорогу.

«Дорога» проходит через селение, *скатывающееся на равнину*, подобно тому, как в описании разбойничьего места *мно-*

*говодный источник низвергается вниз и расходится отдельными потоками по долине.* Философ бежит из селения не по дороге, а *через поле* (214), т. е. в противоположном направлении от горы, и следовательно, от «дороги», оказываясь лицом к лицу со стражем-казакком. Бегущая от разбойников девица направляет осла *по ложному пути*, думая, что он ведёт к дому её родителей. Луций говорит сам себе: „что делаешь, для чего с такою поспешностию и притом самовольно устремляешься во ад? для чего меня понуждаешь на путь ведущий нас обоих ко вратам смерти?“ (Met., VI, 29; ч. 2, с. 48). На этом пути беглецы встречают разбойников, которые осуждают их на страшную смерть. Таким образом, в обоих текстах движение по ложному пути ведёт к неминуемой гибели.

Взгляд ведьмы. Телефрон рассказывает о своём ночном бдении около тела мёртвого:

наконец, когда глухая наступила полночь, вдруг страх и ужас начал обладать мною, и я увидел вбежавшего зверка, подобного ласточке, которой ставши прямо против меня, столь пристально устремил на меня пронизательные свои глаза, что дерзость сея толь подлая и маленькия твари привела меня в некоторое смущение. Наконец, поди прочь мерзкая тварь, говорю ему, поди прочь и скройся в норы к подобным себе, доколе я тебя не ушиб! он побежал и сокрылся. По сем вдруг столь сильной и глубокой объял меня сон, что и сам Дельфический бог смотря на меня и на труп лежащий не мог бы различить, кто из нас мертвой (Met., I, 25; ч. 1, с. 74).

Мёртвый сон, в который впадает Телефрон после того, как на него смотрит зверёк-оборотень, предваряет действия волшебниц, отрезающих ему нос и уши.

Дорош рассказывает:

Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала – это бы еще ничего; но вот

вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь (204).

Старуха входит в хлев:

Философу сделалось страшно, особенно, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. „Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с богом!“ закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза, и снова начала подходить к нему (185).

Своим взглядом ведьма полностью иммобилизует философа, превращая его в *бессловесное* животное:

к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах (185).

В сходном положении оказывается превращённый в осла Луций:

В такой крайности озирался я на все свои члены и видел, что вместо птицы превращен я в осла; досадуя и жалуясь на Фотису и не имея голоса и телодвижения человеческого, отворил я только свой рот и слезными со стороны смотря на нее глазами, просил себе помощи (Met., III, 25; ч. 1, с. 117).

Осёл-Луций догадывается об истинной виновнице своего превращения и поэтому основательно размышляет: „устремитесь ли мне, вооружась копытами и зубами на сию вероломную и преступную женщину, чтоб ее умертвить“ (Met., III, 25; ч. 1, с. 118). Однако в отличие от не склонного к размышлениям философа он не переходит к «радикальным» действиям: „разсудя подробнее, переменил я сие безумное намерение, ибо смертью Фотисы лишился бы я навсегда нужных средств для принятия вида человеческого“ (Met., III, 26; ч. 1, с.

118). Избивая ведьму, Хома Брут навсегда лишается не только возможности *принятия вида человеческого*, но и вообще возвращения в мир живых.

С и л а в е д ь м ы . Биррена остерегает Луция:

берегись, но берегись прилежно, проклятой хитрости и приманчивых сетей распростертых Памфилою Милоновой женою; у которой, как ты говоришь, ночлег имеешь: все ее почитают самою величайшею волшебницею и учительницею всякого чародеяния. Посредством некоторых трав, маленьких камышков и другими того рода безделками, на которые она сперва дует, может она всю связь звездного мира свергнуть во дно ада, и погрузить в первобытный Хаос. Она, как только увидит юношу, собой прекрасного, в минуту в него влюбляется, устремляет к нему взор свой и сердце, стократно усугубляет ему свои ласки, пленяет его душу и содержит вечно в любовных узах. Но непокорных и презирающих ее с яростию и одним словом превращает в камни, или в животных, а иных и совсем умерщвляет (Met., II, 5; ч. 1, сс. 47-48).

Старик сообщает Телефрону:

хитрые и проклятые сии старухи превратившись в какое-нибудь животное столь искусно и проворно подкрадываются, что и солнцевы очи, или очи правосудия не могли бы их усмотреть. Они тогда принимают на себя вид собак, мышей, птиц и также мух, и потом силою волшебства погружают в глубокой сон того, кто охраняет тело. Кратко скажу, не можно изчислить и описать всех коварных хитростей употребляемых волшебницами для своей похоти (Met., II, 22; ч. 1, сс. 69-70).

Фотиса говорит Луцию:

И так узнаешь ты обстоятельства нашего дому, откроются тебе удивительные госпожи моей таинства, которым послушны тени, повинуются стихии и которых силою стройный чин светил прерывается: и никогда она силы своего волшебства с большим не употребляет жаром, как только, если пленится когда прекрасным юношею, что с нею весьма часто случается (Met., III, 15; ч. 1, сс. 106-107).

Сходные действия производит ведьма-панночка, возбуждая адские стихии:

Философ в страхе понял, что она творила заклинания. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться (210);

Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летело и носилось, ища повсюду философа (216).

У Апулея волшебницы используют эти средства для удовлетворения своей похоти. Аналогичным образом можно было бы интерпретировать действия панночки: она насылает на философа все *силы ада* за то, что он *пренебрѣг* ею. Катая на себе ведьму, Хома испытывает ощущения, которые можно было бы определить как «эротические»:

Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его с е р д ц у (186);

Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто с е р д ц а уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою (187).

«Эротические» переживания, как можно предположить, служат здесь средством для извлечения сердца. Сократ, умерщвлѣнный волшебницей Мероей, теряет своё сердце: „чтоб соблюсти весь обряд жертвоприношения, углубила она свою правую руку в сию рану до самой внутренности и оттоле исторгнула сердце моего несчастнаго товарища” (*Met.*, I, 13; ч. 1, с. 21). Смысл этого «ритуального» (что, между прочим, подчёркивается словом «жертвоприношение») действия следует, думается, искать в древнеегипетских представлениях о взве-



шивании сердца покойного на загробном суде Осириса.<sup>5</sup> Здесь можно представить следующую схему: сохранение сердца делало для покойного возможным *выживание* в Стране мёртвых, а его потеря имела своим следствием *вторую и окончательную смерть*.<sup>6</sup>

Если бы Сократ умер только *один раз*, сохранив при этом сердце, для него было бы возможным выживание в загробном мире. Прибывая в Страну мёртвых *без сердца*, он не имеет *никакой* возможности на выживание. Поэтому волшебницы не умертвляют Сократа сразу, а в начале извлекают из него сердце, чтобы сделать его смерть *абсолютно необратимой*. Таким образом, главной целью ведьмы является не удовлетворение своей похоти, а *радикальное* уничтожение «объекта вождения».

У Гоголя эта схема усложняется: Хома Брут – мертвец, не знающий, что он мёртвый,<sup>7</sup> и поэтому он *всеми силами* сопротивляется извлечению своего сердца. Более того, ему даже удаётся «перевернуть» ситуацию: объектом вождения становится ведьма, избивание которой имеет черты полового акта:

Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу (...) „Ох, не могу больше!“ произнесла она в изнеможении, и упала на землю (187).

О с л и н а я п о х о т ь . Луций рассказывает о своих ослиных успехах у благородных дам:

5 О суде Осириса см.: Рубинштейн 1987:I:421. О непосредственном знакомстве Апулея с древнеегипетской религией можно судить по 11-й книге *Метаморфоз*, в которой описывается явление ослу-Луцию Исиды и его посвящение в таинства великой богини.

6 Об архаичных представлениях о второй смерти см.: Петрухин 1987:I:453.

7 Ср. тибетскую *Историю Чойджид-дагини* (перевод с монгольского, М. 1990). Мёртвая не знает, что она мёртвая, и поэтому ритуал состоит в объяснении мертвецу его нового состояния. Лама говорит над телом покойной: „Чойджид, с тобой произошло то, что называется смертью“ (7а).

В толпе зрителей находилась одна м о л о д а я , благородная и весьма богатая в д о в а , которая заплатив дядьке моему обыкновенную цену смотрела на меня весьма прилежно, и удивлялась моему искусству в подражании человеческим действиям возчувствовала ко мне непреодолимую склонность: и по примеру сластолюбивой Пазифай, влюбившейся в тучного вола, желала объятий ослиных (Met., X, 19; ч. 2, с. 264).

Возвратившись в Киев после ночного скакания с ведьмой на спине, голодный философ

прошел посвистывая раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какою-то м о л о д о ю в д о в о ю в желтом очипке, продававшей ленты, ружейную дробь и колеса – и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею... и словом перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике, среди вишневого садика (188).

Осёл-Луций возвращается в свою спальню, где молодая вдова нетерпеливо его ожидает. „О боги! какое пышное приготовление!” (Met., X, 20; ч. 2, с. 265), – восклицает он в восхищении. Гоголевское „перечесть нельзя”, думается, соответствует многоточию в переводе Кострова:

наконец можно ли... но что изъясняться! словом: она сомнение мое и страх уничтожила и уверилась, что Пазифая Минотаврева мать не напрасно имела себе любовником тучного вола (Met., X, 22; ч. 2, с. 266).

Эта сценка повторяет другую, которая, по нашему мнению, имеет непосредственное отношение к превращению Луция в осла, более того, предваряет его и подготавливает:

Сие проговоря вскочила ко мне на кровать, и сладотьми Венеры насыщала меня до толе, пока оба мы, душою и телесными изнемогши членами, утомились изливая дух свой друг ко другу в объятии. В таких и подобных тому сражениях препроводили мы всю ночь до разсвета (Met., II, 17; ч. 1, с. 63).

Использование осла молодой вдовой с целью удовлетворения своего вождления позволяет предположить аналогичные намерения в отношении Луция. Вначале Фотиса его

*испытывает*, а потом превращает в осла – но не для себя, а для своей хозяйки-волшебницы. Любовные игры с молодой вдовой становятся причиной, по которой осла предназначают для публичного совокупления с преступницей, приговорённой на съедение хищным зверям, т. е. едва не оканчиваются для него гибелью.

О необычайной похоти Хома Брута сообщается:

Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна смазливая молодка хватил его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и любопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта (209).

О самом себе он говорит: „да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга” (197). Следует предположить, что благодаря этим своим выдающимся качествам, философ избирается ведьмой для ночного катания. Однако, оно имеет своей целью не удовольствие, а *истощение* животной силы, сохраняющейся в мертвце, с тем, чтобы сделать его смерть, как в рассказе о Сократе, окончательной.

О с л и н а я п р о ж о р л и в о с т ь . Осёл-Луций отличается также необыкновенной прожорливостью:

долго ли, говорит, терпеть нам безтыдство сего обжоры, которой, недавно хотел у своих товарищей пожрать сено и овес, а теперь хочет съесть и розы богини? (Met., III, 27; ч. 1, с. 120); увидев издали сад позади дому находящийся, устремился в него с поспешностью и наполнил свой желудок грубыми травами до сытости (Met., IV, 1; ч. 1, с. 126);

по счастью желудок мой заболевший от такого мучения, притом отягощен множеством различных и грубых трав разродился, и с сильным стремлением произвел такое действие, которое всех сих мучителей прогнало: ибо иных окропил я жидкими трав остатками, других зловонным поразил духом (Met., IV, 3; ч. 1, с. 129);

стали они смотреть на меня сквозь маленькую скважину, и увидели, что я все блюда с жарким и пирожным, с похлебками опо-

ражниваю весьма искусно. Тогда ни мало не заботясь о утрате мною причиняемой, захохотали они из всей мочи, удивляясь странному вкусу ослинаго желудка; потом призвав к себе и других домашних служителей, показывают им странное мое обжорство (Met., X, 15; ч. 2, с. 257).

Выдающейся чертой бурсаков является *необыкновенная прожорливость* (179). Путь бурсаков к дому в значительной степени определяется поисками пищи:

Как только завидывали в стороне хутор, тотчас сворачивали с большой дороги и, приблизившись к хате (...) во весь рот начинали петь кант. (...) И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь (180-181).

Желудок Хома Брута не успокаивается даже ночью: „Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество” (182). Войдя на двор хутора, он сразу просит еды: „А что, бабуся (...) если бы так, как говорят... ей богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту” (184). Перед тем, как заснуть, философ в одну минуту съедает украденного карася (185). У молодой вдовы Хома Брут был „накормлен пшеничными варениками, курицею... и словом перечесть нельзя, что у него было за столом” (188).

Когда желудок философа наполнен, он лежит на лавке, „покуривая, по обыкновению своему, люльку” (188). Можно сказать, что естественным состоянием для него является лежание на лавке, а все прочие его «философские» занятия суть вынужденные *силой необходимости*. Можно также предположить, что старуха-ведьма отказывается накормить философа, имея в виду прокатиться на нём верхом, что, по всей видимости, было бы неисполнимо при полном желудке. И действительно, желая убежать от сопровождающих его в селение сотника казаков, Хома Брут не в состоянии подняться из-за стола (193). Полный желудок делает его совершенно неподвижным.

Передвижения осла-Луция в значительной мере определяются пустотой/полнотой его желудка. В конце концов он достигает ослиного идеала сытости: „Сей отпущеник содержал меня весьма хорошо и кормил изрядной пищею досыта” (*Met.*, X, 17; ч. 2, с. 260). Но именно на этом пределе сытости он едва не становится *пищею чрева* диких зверей.

В аналогичной ситуации оказывается Хома Брут: от обжорства он делается неподвижным. А посему, отплясав трепака, он отправляется на «кухню» преисподней. Осёл-Луций, не потерявший совершенно человеческой подвижности, в конце концов находит *прямую дорогу*, которая выводит его из замкнутого хтонического пространства цирка.

\* \* \*

Мы не знаем, что ответил Пушкин на мольбы Гоголя о *чисто русском анекдоте*. Может быть, то, что «чистых» анекдотов вовсе не существует. Во всяком случае, эти настойчивые обращения к Пушкину за «идеями» с достаточной полнотой обнаруживают «механизм», по которому разворачивался творческий процесс у Гоголя. Он, подобно своим героям, нуждался во *внешнем толчке* с тем, чтобы привести в движение свою «фантазию».

Роман Апулея в переводе Кострова по отношению к *Вию* является этого рода внешним *побуждением*, определяющим не только общее развитие действия и характерные частности, но и *основную идею*. Однако эта «идея» редуцируется у Гоголя до одного элементарного аспекта, выявляя при этом свою *архетипическую* основу.

Превращение в животное соответствует инициационному умиранию или погружению в утробный хтонический мир, выход из которого означает возвращение к человеческой форме бытия, *противоположной* смертности. Оппозиция животности/человечности становится у Апулея оппозицией смерти/жизни. У Гоголя остаётся только «животное» и «смертное», а единственной функцией нижнего мира становится подготавливание умершего не к возрождению в новой жизни, а – ко второй и окончательной смерти.

## ЛИТЕРАТУРА

- Апулей  
1780-1781 *Луция Апулея платонической секты философа превращение, или золотой осёл, М. 1780-1781.*
- Вайскопф, М.  
1993 *Сюжет Гоголя, М. 1993.*
- Гоголь, Н.В.  
1937 *Полное собрание сочинений, М. 1937:II.*
- Пушкин, А.С.  
1949 *Полное собрание сочинений, М. 1949:XVI.*
- Петрухин, В.Я.  
1987 *Загробный мир, в: Мифы народов мира, Москва 1987:I.*
- Рубинштейн, Р.И.  
1987 *Египетская мифология, в: Мифы народов мира, Москва 1987:I.*